

Глава 1. Совершенные и строгие заведения

Тюрьма родилась раньше, нежели полагают те, кто связывает ее возникновение с принятием новых кодексов. Форма тюрьмы существовала раньше, чем ее начали систематически использовать в уголовном праве. Она образовалась вне судебного аппарата, когда по всему телу общества распространились процедуры, направленные на распределение индивидов, их закрепление в пространстве, классификацию, извлечение из них максимума времени и сил, муштру тел, регламентацию всего их поведения, содержание их в полной видимости, окружение их аппаратом наблюдения, регистрации и оценки, а также на создание накапливаемого и централизованного знания о них. Общая форма аппарата, призванного делать индивидов послушными и полезными посредством тщательной работы над их телами, обрисовала институт тюрьмы еще до того, как закон определил его как основное средство наказания. На рубеже XVIII–XIX веков действительно существовало наказание в форме тюремного заключения, и оно было внове. Но на самом деле уголовно-правовая система просто открылась механизмам принуждения, уже разработанным ранее на другом уровне. «Модели» уголовного заключения (Гент, Глочестер, Уолнат Стрит) являются скорее первыми видимыми точками этого перехода, нежели инновациями или отправными пунктами. Тюрьма, существенно важный элемент арсенала наказаний, безусловно знаменует важный момент в истории уголовного правосудия: его приближение к «гуманности». Но она является и важным моментом в истории дисциплинарных механизмов, развиваемых новой классовой властью, – моментом, когда эти механизмы захватывают институт правосудия. На рубеже столетий новое законодательство определяет власть наказывать как общую функцию общества, которая применяется равным образом ко всем его членам и в которой равно представлены все индивиды. Но посредством превращения заключения в основное средство наказания новое законодательство вводит процедуры господства, характерные для конкретного типа власти. Правосудие, выдающее себя за «равное» для всех, и судебный аппарат, выглядящий как «автономный», но содержащий в себе все асимметрии дисциплинарного подчинения, – такое соединение знаменует рождение тюрьмы, формы «наказания в цивилизованных обществах»[402]. Можно понять, почему тюрьма как форма наказания очень рано приобрела характер очевидности. В первые годы XIX века еще было ощущение ее новизны. И все же понимание ее глубинной связи с самим функционированием общества почти сразу же заставило забыть все прочие наказания, придуманные реформаторами XVIII века. Казалось, будто ей нет альтернативы, будто она принесена током истории: «Не случайность, не прихоть законодателя сделали заключение фундаментом и едва ли не всем зданием современной шкалы наказаний, а прогресс идей и смягчение нравов»[403]. И хотя через столетие с небольшим ощущение очевидности тюрьмы как формы наказания преобразилось, оно не исчезло. Известны все недостатки тюрьмы. Известно, что она опасна, если не бесполезна. И

все же никто «не видит», чем ее заменить. Она – отвратительное решение, без которого, видимо, невозможно обойтись.

«Очевидность» тюрьмы, с которой нам так трудно расстаться, основывается прежде всего на том, что она – простая форма «лишения свободы». Как же тюрьме не быть преимущественным средством наказания в обществе, где свобода – достояние, которое принадлежит равным образом всем и к которому каждый индивид привязан «всеобщим и постоянным» чувством?[404] Лишение свободы, следовательно, имеет одинаковое значение для всех. В отличие от штрафа, оно – «уравнительное» наказание. В этом своего рода юридическая ясность тюрьмы. Кроме того, тюрьма позволяет исчислять наказание в точном соответствии с переменной времени. Тюремное заключение может быть формой отдачи долга, что составляет в промышленных обществах его экономическую «очевидность» – и позволяет ему предстать как возмещение. Взимая время осужденного, тюрьма наглядно выражает ту мысль, что правонарушение наносит вред не только жертве, но и всему обществу. Можно говорить об экономикоморальной очевидности уголовнонаказуемого поступка, позволяющей исчислять наказание в сутках, месяцах и годах и устанавливать количественное соотношение между характером правонарушения и длительностью наказания. Отсюда выражение, столь часто употребляемое, столь соответствующее принципу действия наказаний, хотя и противоречащее строгой теории уголовного права: в тюрьме сидят, чтобы «заплатить долг». Тюрьма естественна, как «естественно» в нашем обществе использование времени в качестве меры отношений обмена.

Но очевидность тюрьмы основывается также на ее (предполагаемой или требуемой) роли машины для преобразования индивидов. Как можно не принять тюрьму без колебания, если, заточая, исправляя и делая послушными, она просто чуть более акцентированно воспроизводит все те механизмы, что уже присутствуют в теле общества? Тюрьма подобна строгой казарме, школе без поблажек, мрачной мастерской; в определенных рамках она качественно не отличается от них. Это двойное обоснование – юридическо-экономическое и технико-дисциплинарное – делает тюрьму самой адекватной и цивилизованной формой наказания. И именно это двойное действие[405] сразу же обеспечило тюрьме ее прочность. Ясно одно: тюрьма не была сначала лишением свободы, к которому позднее добавилась техническая функция исправления. С самого начала она была формой «законного заключения», несущего дополнительную исправительную нагрузку, или предприятием по изменению индивидов, которое может действовать в правовой системе благодаря лишению свободы. Словом, тюремное заключение с начала XIX века означает одновременно и лишение свободы, и техническое преобразование индивидов.

Вспомним некоторые факты. В кодексах 1808 и 1810 гг. и ближайших к ним мерах заключение никогда не смешивается с простым лишением свободы. Оно является (или, во всяком случае, должно являться) дифференцированным и целесообразным механизмом. Дифференцированным – поскольку заключение должно иметь различную форму, в зависимости от того, является ли заключенный осужденным или просто обвиняемым, мелким правонарушителем или преступником: различные типы тюрьмы – следственный изолятор, исправительная тюрьма, центральная тюрьма – в принципе должны более или менее соответствовать этим различиям и обеспечивать наказание, не только градуированное по силе, но и разнообразное по целям. Ведь у тюрьмы есть цель,

установленная с самого начала: «Закон, вменяющий наказания различной степени серьезности, не может допустить, чтобы индивид, приговоренный к легкому наказанию, был заключен в том же помещении, что и преступник, приговоренный к более тяжелому наказанию... хотя основной целью определенного законом наказания является искупление вины за совершение преступления, оно направлено также на исправление виновного»[406]. И это преобразование должно быть одним из внутренних результатов заключения. Тюрма – наказание, тюрма – аппарат: «Порядок, который должен царить в домах заключения, может значительно способствовать перерождению осужденных; пороки, обуславливаемые воспитанием, заразительность дурного примера, праздность... приводят к преступлению. Так попытаемся же устранить все эти источники порчи. Пусть в домах заключения действуют правила здоровой морали. И осужденные, принуждаемые к труду, в конечном счете полюбят его; вкусив плоды своего труда, они обретут привычку, вкус к труду, потребность в нем. Пусть они являют друг другу пример трудовой жизни; скоро их жизнь станет нравственно чистой; скоро они пожалеют о прошлом, а это первый признак обретенного чувства долга»[407]. Исправительные методы сразу становятся частью институциональной структуры тюремного заключения.

Необходимо также напомнить, что движение за реформу тюрем, за контроль над ними началось не в последнее время. Видимо, оно даже не стало результатом признания неудачи. Тюремная «реформа» – ровесница тюрьмы: она предстает как своего рода программа тюрьмы. С самого начала тюрма окружена рядом сопутствующих механизмов, которые вроде бы призваны ее усовершенствовать, но в действительности составляют часть ее функционирования, – настолько тесно они связаны с существованием тюрьмы на протяжении всей ее долгой истории. Это подробная технология тюрьмы, разработанная при ее возникновении. Это были работы Шапталя[408] (который хотел установить, что нужно для внедрения тюремного аппарата во Франции, 1801) и Деказа[409] (1819), книга Виллермэ[410] (1820), доклад о центральных тюрьмах, составленный Мартиньяком[411] (1829), исследования, предпринятые в Соединенных Штатах Бомоном и Токвилем (1831), Деметцем и Блюэ (1835), опросы руководителей тюрем и генеральных советов, проведенные Монталивэ в самый разгар диспута об одиночном заключении. Это были общества, имевшие целью контроль над тюрьмами и предложение мер по их улучшению (в 1818 г. было совершенно официально учреждено Общество улучшения тюрем, чуть позднее – Общество тюрем и различные филантропические группы). Это были бесчисленные меры – указы, инструкции или законы: от реформы, предусмотренной первой Реставрацией в сентябре 1814 г., но так никогда и не проведенной, до закона 1814 г., подготовленного Токвилем и на какое-то время закрывшего долгий спор о способах достижения эффективности тюрьмы. Это были программы, направленные на улучшение функционирования тюремной машины[412]: программы обращения с заключенными, денежного вознаграждения их труда, материального обустройства; некоторые из них так и остались проектами (например, программы Данжу, Блюэ, Гару-Ромэна), другие воплотились в инструкциях (циркуляр от 9 августа 1841 г. о строительстве следственных тюрем) или в архитектурных сооружениях (тюрма Петит Рокет, где впервые во Франции было введено камерное заключение).

К этому надо добавить публикации, более или менее прямо исходившие из тюрьмы и подготовленные филантропами (такими, как Аппер[413]), или, несколько позднее, «специалистами» (например, «Анналы Милосердия»[414]), или бывшими заключенными

(«Бедняга Жак» в конце Реставрации или «Газета Святой Пелагеи»[415] в начале Июльской монархии)[416].

Не следует рассматривать тюрьму как инертный институт, время от времени встряхиваемый реформистскими движениями. «Теория тюрьмы» была скорее устойчивой совокупностью рабочих инструкций тюрьмы, нежели ее случайной критикой, и составляла одно из условий ее функционирования. Тюрьма всегда была частью активного поля, где в изобилии множились проекты переустройства, эксперименты, теоретические дискурсы, личные свидетельства и исследования. Вокруг института тюрьмы всегда было много слов и стараний. Можно ли утверждать, что тюрьма – темная и забытая область? Являются ли достаточным доказательством обратного последние 200 лет? Становясь законным наказанием, тюрьма нагрузила старый юридическо-политический вопрос о праве наказывать всеми проблемами, всеми ожиданиями, связанными с технологиями исправления индивидов.

* * *

«Совершенные и строгие заведения», – заметил Балтар[417]. Тюрьма должна быть исчерпывающим дисциплинарным аппаратом в нескольких отношениях. Она должна отвечать за все стороны жизни индивида, его физическую муштру, приучение к труду, повседневное поведение, моральный облик и наклонности. Тюрьма «вседисциплинарна» в значительно большей степени, чем школа, фабрика или армия, всегда имеющие определенную специализацию. Кроме того, у тюрьмы нет ни внешней стороны, ни лакун; ее нельзя приостановить, за исключением тех случаев, когда ее задача полностью выполнена; ее воздействие на индивида должно быть непрерывным: нескончаемая дисциплина. Наконец, тюрьма обеспечивает практически полную власть над заключенными. Тюрьма имеет собственные внутренние механизмы подавления и наказания: деспотическая дисциплина. Она доводит до наибольшей интенсивности все процедуры, действующие в других дисциплинарных механизмах. Она должна быть мощнейшим механизмом навязывания испорченному индивиду новой формы; способ ее действия – принудительное тотальное воспитание. «В тюрьме начальство располагает свободой личности и временем заключенного. Это позволяет понять силу воспитания, которое не один день, но ряд дней и даже лет диктует человеку время бодрствования и сна, деятельности и досуга, число и продолжительность приемов пищи, качество и количество еды, вид и продукт труда, время молитвы, пользование словом и даже, так сказать, мыслью. Воспитание посредством простых и коротких переходов из столовой в мастерскую, из мастерской в камеру регулирует движения тела, причем даже в моменты отдыха, и устанавливает распорядок дня. Словом, воспитание овладевает человеком в целом, всеми его физическими и моральными качествами и временем, в котором он пребывает»[418]. Этот полный «реформаторий» обеспечивает перекодировку существования, весьма отличную от простого юридического лишения свободы и от простого механизма поучений, о котором мечтали реформаторы эпохи Идеологии.

Первый принцип – изоляция. Изоляция осужденного от внешнего мира, от всего, что было мотивом правонарушения, от соучастия, которое облегчило его совершение. Изоляция заключенных друг от друга. Наказание должно быть не просто индивидуальным, но индивидуализирующим. Это достигается двумя способами. Прежде всего, само устройство тюрьмы должно ликвидировать пагубные последствия, к которым она приводит, собирая вместе очень разных заключенных: тюрьма должна пресекать заговоры и бунты, препятствовать сближению возможных будущих сообщников, которое может породить шантаж (после освобождения), препятствовать аморальности многочисленных «загадочных союзов». Короче говоря, тюрьма не должна допустить, чтобы собранные в ней преступники составили однородное и сплоченное население: «Сегодня среди нас существует организованное общество преступников... Народ в народе. Почти все эти люди встретились и встречаются друг с другом в тюрьмах. Это общество мы должны рассеять»[419]. Кроме того, поскольку одиночество располагает к размышлениям и угрызениям совести, которые непременно возникают, оно должно быть положительным инструментом реформы: «Оказавшись в одиночестве, заключенный размышляет. Оставшись наедине с совершённым преступлением, он приучается его ненавидеть, и если душа его еще не закоснела во зле, то именно в одиночестве его настигнут муки совести»[420]. Благодаря тому же факту одиночество обеспечивает своего рода саморегулирование наказания и делает возможной его спонтанную индивидуализацию: чем больше заключенный способен к размышлению, тем больше он чувствует себя виновным в преступлении, и чем живее его раскаяние, тем болезненнее для него будет одиночество. Зато когда он глубоко раскается и изменится к лучшему, причем без тени разрушения личности, одиночество перестанет угнетать его: «Таким образом, следуя этой замечательной дисциплине, всякое размышление и всякая мораль содержат в себе принцип и меру подавления, неотвратимость и неизменную справедливость которых не могут отменить ни ошибка, ни человеческая греховность... Разве нет на ней печати божественного и провиденциального правосудия?»[421] И наконец (а может быть, это главное), изоляция заключенных гарантирует, что на них можно максимально эффективно воздействовать властью, которая не будет опрокинута никаким иным влиянием; одиночество – первое условие полного подчинения. «Только представьте себе, – говорил Шарль Люка, имея в виду роль воспитателя, священника и “милосердных людей” относительно изолированного заключенного, – только представьте себе силу человеческого слова, раздающегося посреди ужасающей дисциплины молчания и обращенного к сердцу, душе, к личности человека»[422]. Изоляция обеспечивает разговор с глазу на глаз между заключенным и воздействующей на него властью.

Именно вокруг этого момента вращается дискуссия о двух американских системах заключения: обернской и филадельфийской. В сущности, эта дискуссия, столь широкая и долгая[423], касается лишь практики применения изоляции, с целесообразностью которой все согласны.

Обернская модель предписывает одиночную камеру ночью, совместную работу и общий обед, но при условии абсолютного молчания. Заключенные могут говорить только с надзирателями с разрешения последних и вполголоса. Здесь очевидно родство с монастырской моделью; вспоминается также фабричная дисциплина. Тюрьма должна быть совершенным обществом в миниатюре, где индивиды изолированы в их нравственной жизни, но объединяются в жесткой иерархической структуре, исключая «боковые»

отношения и допускающей общение лишь по вертикали. Сторонники обернской системы усматривали ее преимущество в том, что она – повторение самого общества. Принуждение в ней осуществляется материальными средствами, но главное – посредством правил, которые надо научиться соблюдать, что обеспечивается надзором и наказанием. Вместо того чтобы держать заключенных «под замком, словно свирепых зверей в клетке», надо собирать их вместе, «заставлять их сообща участвовать в полезных упражнениях, принудительно прививать им хорошие привычки, предупреждать нравственную заразу активным надзором и поддерживать внутреннюю собранность соблюдением правила молчания». Это правило приучает заключенного «рассматривать закон как святую заповедь, нарушение которой может повлечь справедливое и законное наказание»[424]. Таким образом, изоляция, объединение без общения и закон, гарантированный непрерывным надзором, призваны возродить преступника как общественного индивида. Эти операции муштруют его для «полезной и смиренной деятельности»[425] и возрождают в нем «привычки члена общества»[426].

При абсолютной изоляции (требуемой филладельфийской моделью) перевоспитание преступника основывается не на применении общего права, а на отношении индивида к собственному сознанию и на том, что может озарить его изнутри[427]: «Один в своей камере, заключенный предоставлен самому себе. При молчании собственных страстей и окружающего мира он погружается в свою совесть, вопрошает ее и ощущает, как в нем пробуждается нравственное чувство, которое никогда не умирает полностью в человеческом сердце»[428]. Итак, на заключенного воздействуют не внешнее соблюдение закона и не один только страх перед наказанием, а работа его сознания, его совесть. Скорее глубоко прочувствованное подчинение, чем поверхностная муштра: изменение «нрава», а не привычек. В пенсильванской тюрьме единственными исправительными факторами являются сознание и немая архитектура, с которой оно сталкивается. В тюрьме Черри Хилл «стены наказывают за преступление, камера приводит заключенного к самому себе, он вынужден слушать свою совесть». Поэтому те, кто работает здесь, скорее утешают, чем обязывают. Надзирателям не приходится принуждать, ибо принуждает материальность вещей, а потому заключенные могут признать авторитет надзирателей: «При каждом посещении камеры несколько доброжелательных слов срываются с честных уст надзирателя и наполняют сердце узника благодарностью, надеждой и утешением; он любит своего стража, потому что тот ласков и сострадателен. Стены ужасны, а человек добр»[429]. В замкнутой камере, этом временном склепе, легко материализуются мифы о воскресении. После тьмы и молчания – возрожденная жизнь. Обернская модель – само общество в его сути. Черри Хилл – жизнь уничтоженная и возрожденная. Католичество быстро перенимает в своих дискурсах эту технику квакеров. «Я воспринимаю вашу камеру лишь как ужасный склеп, где вместо червей вас начинают точить муки совести и отчаяние, которые превращают вашу жизнь в преждевременный ад. Но... то, что для заключенного-безбожника всего лишь могила, отвратительная погребальная яма, для заключенного – истинного христианина становится колыбелью блаженного бессмертия»[430].

Противопоставление этих двух моделей порождает ряд различных конфликтов: религиозный (должно ли обращение в веру являться основным элементом исправления?), медицинский (сводит ли с ума полная изоляция?), экономический (какой метод дешевле?), архитектурный и административный (какая форма гарантирует наилучший надзор?).

Несомненно, именно поэтому их спор длился так долго. Но центром спора, его сердцевинной является первоочередная цель тюремного воздействия: принудительная индивидуализация путем разрыва всех связей, не контролируемых властью и не выстроенных в иерархическом порядке.

2

«Работа, чередующаяся с перерывами на обед и ужин, сопровождает заключенного вплоть до вечерней молитвы. Сон дает ему приятный отдых, который не тревожат призраки расстроенного воображения. Так проходят шесть дней недели. Затем наступает день, посвященный исключительно молитве, просвещению и благотворным размышлениям. Так сменяют друг друга недели, месяцы, годы. Так заключенный, который пришел в тюрьму неустойчивым или уверенным лишь в собственном везении и влекомым к гибели разнообразными пороками, понемногу, в силу привычки (вначале чисто внешней, но вскоре становящейся его второй натурой), настолько привыкает к работе и приносимым ею радостям, что, если только мудрое наставление откроет его душу раскаянию, можно не бояться его столкновения с соблазнами, подстерегающими его, когда он наконец вновь обретет свободу»[431]. Работа наряду с изоляцией предстает как инструмент тюремного исправления. И это уже начиная с кодекса 1808 г.: «Цель вменяемого законом наказания не только расплата за преступление, но и исправление преступника. Эта двойная цель может считаться достигнутой, если преступник оторвется от пагубной праздности, которая не только привела его в тюрьму, но настигает его и там, чтобы овладеть им и довести до предельной развращенности»[432]. Работа не дополнение и не корректив к режиму заключения: будь то на каторжных работах, при отбывании одиночного заключения, в тюрьме – законодатель расценивает работу как крайне необходимое дополнение этого режима. Но дело в том, что вовсе не эту необходимость имели в виду реформаторы XVIII века, стремившиеся сделать работу примером для публики или полезной компенсацией для общества. В тюремном режиме связь между работой и наказанием совсем иная.

Споры, имевшие место в эпоху Реставрации и Июльской монархии, проливают свет на роль, отводимую труду заключенных. Прежде всего спорили о заработной плате. Во Франции работа заключенных оплачивалась. И возникала проблема: если их работа оплачивается, то, в сущности, она не может быть частью наказания, а следовательно, заключенный может отказаться ее выполнять. Более того, заработная плата вознаграждает умение рабочего, а не исправление виновного. «Самые отпетые негодяи практически повсюду – самые умелые рабочие. Их труд самый высокооплачиваемый, а потому они самые распушенные и меньше всего склонны к раскаянию»[433]. Эта дискуссия (никогда полностью не затухавшая) возобновляется с большой живостью в 1840–1845 гг., в период экономического кризиса и рабочих волнений, в период, когда к тому же начинает выкристаллизовываться оппозиция рабочих правонарушителям[434]. Происходят забастовки против тюремных мастерских. Когда один перчаточник из Шомона сумел организовать мастерскую в тюрьме Клерво, рабочие запротестовали, заявили, что их цех опозорен, захватили фабрику и вынудили хозяина отказаться от проекта[435]. Кроме того, развернулась широкая кампания в рабочих газетах: писали, что правительство поощряет работу в тюрьме с целью понизить зарплату «свободных» рабочих; что еще более очевиден вред, наносимый тюремными мастерскими женщинам: ведь лишая работы и толкая на проституцию, их обрекают на тюрьму, где те

самые женщины, у которых отняли работу на свободе, начинают конкурировать с теми, у кого работа пока еще есть[436]; что заключенным отдается самая хорошая работа («в теплом помещении воры работают шляпниками и краснодеревщиками», а безработный шляпник вынужден идти «на человеческую бойню и изготавливать свинцовые белила за 2 франка в день»[437]); что условия труда заключенных волнуют филантропов гораздо больше, чем условия труда свободных рабочих. «Мы уверены, что если бы заключенные работали с ртутью, то наука куда быстрее, чем сейчас, взялась бы за поиски средств защиты от ее опасных испарений. “Бедные заключенные!” – воскликнет тот, кто едва ли замолвит словечко за позолотчиков. Чего же ждать? Надо убить или украсть, чтобы пробурить сострадание или интерес». А главное – что если тюрьма постепенно превращается в фабрику, то недолго уже ждать того момента, когда туда отправят нищих и безработных и тем возродят старые французские богадельни или английские работные дома[438]. Кроме того, были петиции и письма, особенно после принятия закона 1844 г.; в одной из них, отвергнутой Парижской палатой депутатов, говорилось, что «бесчеловечно предлагать использовать убийц и воров на работах, в которых нуждаются сегодня тысячи рабочих», что «палата депутатов предпочла нам Варраву»[439]. Узнав, что в тюрьме города Мелена должна быть устроена типография, печатники написали письмо министру: «Вы должны сделать выбор между отщепенцами, справедливо наказанными законом, и гражданами, самоотверженно и честно отдающими свои дни поддержанию собственных семей и преумножению богатства родины»[440].

Но реакция правительства и администрации на все эти протесты была практически неизменной. Тюремный труд нельзя критиковать за то, что он якобы вызывает безработицу: ведь его распространение столь незначительно, а производительность столь низка, что он не может серьезно влиять на экономику. Он полезен как таковой, не как производственная деятельность, а как средство воздействия на человеческий механизм. Труд – начало порядка и регулярности; навязывая свои требования, он незаметно распространяет формы жесткой власти. Он подчиняет тела размеренным движениям, исключает волнение и отвлечение, насаждает иерархию и надзор, которые тем легче воспринимаются заключенными и тем глубже укореняются в их поведении, что являются частью его собственной логики: ведь вместе с трудом «правило вводится в тюрьму, оно царит там без усилия, без применения репрессивных и грубых средств. Обязывая заключенного трудиться, ему прививают привычку к порядку и послушанию; прежнего лентяя превращают в прилежного и активного человека... со временем он обретает в монотонном порядке тюрьмы и ручном труде, который ему навязывают... надежное лекарство против разгула воображения»[441]. Принудительный тюремный труд должен расцениваться как тот самый механизм, который преобразует грубого, возбужденного и безрассудного заключенного в деталь, исполняющую свою роль безукоризненно точно. Тюрьма – не мастерская; она является, она должна быть машиной, а заключенные-рабочие – ее винтиками и продуктами; она «занимает их постоянно с единственной целью заполнить каждый момент их жизни. Когда тело разгорячено трудом, когда ум занят, назойливые мысли уходят прочь, покой снова рождается в душе»[442]. Если вообще можно говорить об экономическом результате тюремного труда, то он состоит в производстве механизированных индивидов, соответствующих общим нормам индустриального общества: «Работа – судьба современных людей; она заменяет им мораль, заполняет пустоту, оставленную верой, и считается началом всякого блага. Работа должна быть религией тюрем. Обществу-машине требуются

чисто механические средства преобразования»[443]. Изготовление людей-машин, но и пролетариев; действительно, когда у человека есть только «пара рук, готовых к любой работе», он может жить лишь «продуктом своего труда, ремеслом, или же продуктом труда других, воровством»; но, хотя тюрьма не заставляла правонарушителей работать, труд, по-видимому, был внедрен в самый ее институт в том числе косвенно, посредством налогообложения, этого способа существования некоторых за счет труда других: «Проблема праздности здесь та же, что в обществе; заключенные живут трудом других, если не работают сами»[444]. Труд, который помогает заключенному удовлетворить свои нужды, превращает вора в послушного рабочего. В этом состоит польза оплаты труда заключенных; она навязывает заключенному «моральную» форму заработка как условие его существования. Зарботок прививает «любовь и привычку» к труду[445], рождает у злодеев, не знающих различия между «моим» и «твоим», чувство собственности по отношению к тому, что «заработано в поте лица»[446], научает людей, привыкших к мотовству и разгулу, добродетелям бережливости и предусмотрительности[447]; наконец, предполагая выполнение определенного количества работы, заработок позволяет количественно выразить усердие заключенного и его успехи на пути к исправлению[448]. Оплата тюремного труда не вознаграждает за производство, но служит двигателем и мерой преобразования индивида: она – юридическая фикция, поскольку свидетельствует не о «свободной» передаче рабочей силы, а об уловке, которая считается эффективным методом исправления.

В таком случае, что же дает тюремная работа? Не прибыль и даже не формирование полезного навыка; она создает отношение власти, пустую экономическую форму, схему подчинения индивида и приспособления его к производственному аппарату.

Совершенный образец тюремного труда – женская мастерская в Клерво, где молчаливая точность человеческого механизма напоминает уставную строгость монастыря: «На кафедре под распятием восседает монахиня. Перед ней в два ряда заключенные выполняют порученную им работу. Поскольку вся работа производится с помощью иглы, постоянно царит строжайшая тишина... Создается впечатление, что в этих залах все дышит епитимьей и искуплением. Невольно переносишься во времена достойных обычаев сей древней обители, вспоминаешь о каявшихся грешницах, которые добровольно затворялись здесь, навсегда прощаясь с миром»[449].

3

Но тюрьма идет дальше простого лишения свободы в более важном смысле. Она все больше становится инструментом модулирования наказания; аппаратом, который в процессе порученного ему исполнения приговора имеет право по крайней мере частично определять его принцип. Конечно, институт тюрьмы не получил этого «права» ни в XIX, ни даже в XX столетиях – если не иметь в виду его фрагментарную форму, выражающуюся в таких наказаниях, как условное лишение свободы, полусвобода с принудительным трудом, организация реформатория. Но необходимо заметить, что тюремная администрация уже очень давно добивалась этого права, утверждая, что оно является условием хорошего функционирования тюрьмы и успешного решения задачи исправления, поставленной перед ней самим правосудием.

То же самое верно о продолжительности наказания: тюрьма позволяет точно рассчитывать наказания, градуировать их в зависимости от обстоятельств и придавать наказанию более или менее явную форму расплаты. Но продолжительность наказания не будет иметь никакой исправительной ценности, если она раз и навсегда установлена приговором. Длительность наказания не должна быть мерой «менового стоимости» правонарушения; она должна зависеть от «полезного» изменения осужденного за время отбывания срока. Мера – не время, а время, сообразуемое с конечной целью. Скорее операция, чем расплата. «Точно так же как хороший врач прекращает или продолжает лечение в зависимости от того, достиг ли больной полного излечения, искупление должно завершаться с полным исправлением заключенного; ведь в этом случае заключение становится бесполезным, а кроме того, не просто бесчеловечным по отношению к исправившемуся, но и пустой тратой государственных средств»[450]. Следовательно, оптимальная продолжительность наказания должна исчисляться не только в зависимости от вида преступления и сопутствовавших ему обстоятельств, но и исходя из поведения заключенного в процессе отбывания наказания. Иными словами, наказание должно быть индивидуальным и определяться не только индивидуальностью правонарушителя (юридического субъекта поступка, несущего ответственность за преступление), но и индивидуальностью наказываемого, объекта контролируемого преобразования, индивида, заключенного в тюремную машину, измененного ею или реагирующего на нее. «Дело не только в перевоспитании злодея. По завершении перевоспитания преступник должен вернуться в общество»[451].

Качество и содержание заключения больше не должны определяться только природой правонарушения. Юридическая тяжесть преступления вовсе не обладает ценностью однозначного свидетельства о характере осужденного, поддающемся или не поддающемся исправлению. В частности, различие между гражданским правонарушением и уголовным преступлением, которому в уголовном кодексе соответствует различие между простым лишением свободы и лишением свободы вкупе с каторжными работами, не является решающим с точки зрения исправления. Таково почти общее мнение директоров тюрем, выраженное в ходе опроса, проведенного министерством юстиции в 1836 г.: «Мелкие правонарушители, как правило, самые порочные... Среди уголовников многие совершили преступление из ревности или отчаявшись обеспечить большую семью». «Уголовники ведут себя гораздо лучше, чем мелкие правонарушители. Они покорнее, трудолюбивее последних, чаще всего – жуликов, плутов, распутников и лентяев»[452]. Отсюда мысль, что строгость наказания не должна быть прямо пропорциональна тяжести совершенного преступления и не должна оставаться неизменной.

Как исправительная операция, заключение предъявляет свои требования и представляет определенную опасность, а именно результаты отбывания заключения должны определять его этапы, периоды временного ужесточения и последующего смягчения; то, что Шарль Люка назвал «подвижной классификацией моральных качеств». Во Франции часто защищали прогрессивную систему, применявшуюся в Женеве с 1825 г.[453]. Она принимала форму, например, трех тюремных корпусов: испытательного для всех заключенных, карательного и поощрительного (для тех, кто встал на путь исправления)[454], или четырех фаз: периодов устрашения (лишение работы и всякого внутреннего или внешнего общения), работы (изоляция, но при этом труд, который после фазы вынужденной праздности

воспринимается как благо), морального наставления (более или менее частые «собеседования» с директорами и должностными лицами) и коллективной работы[455]. Хотя принцип наказания определяется, безусловно, решением суда, управление его исполнением, его качество и строгость должны диктоваться автономным механизмом, контролирующим результаты наказания изнутри той самой машины, что их производит. Весь режим наказаний и вознаграждений не только заставляет соблюдать тюремный распорядок, но и добивается эффективного воздействия тюрьмы на узников. Сама судебная власть начинает это признавать: «Не следует удивляться, – заявил кассационный суд, когда обсуждался проект закона о тюрьмах, – идее вознаграждений, которые состоят большей частью в даровании денег, в улучшенном питании или сокращении срока. Если что-нибудь и может пробудить в сознании заключенных понятия добра и зла, привести их к размышлениям о морали и хоть немного возвысить в собственных глазах, то это возможность получить вознаграждение»[456].

И надо признать, что судебные инстанции не имеют прямой власти над всеми теми процедурами, что корректируют наказание в процессе его исполнения. Ведь они, по определению, представляют собой меры, которые принимаются только после вынесения приговора и могут быть продиктованы не правонарушениями, а чем-то иным. Поэтому персонал, управляющий содержанием в тюрьме, должен располагать необходимой автономией в вопросе индивидуализации наказания и изменения режима отбывания или срока: надзиратели, директор тюрьмы, священник или воспитатель выполняют эту корректирующую функцию лучше, чем те, в чьих руках находится власть судебная. Именно их суждение (понимаемое как констатация, диагноз, характеристика, уточнение и дифференцирующая классификация), а не приговор в форме установления виновности, должно служить основанием для внутреннего изменения наказания – для его смягчения или даже приостановки. Когда в 1846 г. Бонневиль представил проект временного освобождения из тюрьмы по специальному разрешению, он определил его как «право администрации с предварительного согласия судебной власти временно освобождать полностью исправившегося заключенного после отбывания срока, достаточного для искупления вины, при условии, что он будет водворен обратно при малейшей обоснованной жалобе»[457]. Весь «произвол», при прежнем судебном режиме позволявший судьям модулировать наказание, а государям – прерывать его по собственной воле, весь этот произвол, который современные кодексы отняли у судебной власти, постепенно восстанавливается на стороне власти, управляющей наказанием и контролирующей его. Верховная власть знания, принадлежащего стражу: «Он – настоящий магистрат, призванный суверенно править в доме... и чтобы не потерпеть неудачу в своей миссии, он должен сочетать выдающуюся добродетель с глубоким знанием людей»[458].

И здесь мы приходим к принципу, четко сформулированному Шарлем Люка. Хотя сегодня весьма немногие юристы решились бы признать его без некоторого колебания, он знаменует основное направление современного функционирования уголовной системы; назовем его Декларацией тюремной независимости. В нем утверждается право тюремных властей не только на административную автономию, но и на участие в верховной власти наказывать. Утверждение прав тюрьмы определяется следующими принципами. Уголовный приговор – произвольная единица; ее необходимо разложить. Составители уголовных кодексов справедливо различали уровень законодательства (классификация преступлений

и установление соответствующих наказаний) и уровень суда (вынесение приговора). Сегодня задача состоит в том, чтобы проанализировать, в свою очередь, судебный уровень. В нем необходимо выделить собственно судебное (оценивать не столько действия, сколько деятели, учитывать «намерения, придающие человеческим поступкам столь различные моральные качества», а следовательно, по возможности исправлять оценки законодателя), а также обеспечить автономию «тюремного суждения» (это, пожалуй, самое важное). По сравнению с последним суждение суда – лишь «предварительное», поскольку нравственность преступника можно оценить, «только подвергнув ее испытанию». «Следовательно, оценка судьи, в свою очередь, требует обязательного корректирующего контроля, и этот контроль обеспечивается тюрьмой»[459].

Итак, можно говорить о перевесе (одном или многих) в заключении тюремной стороны над собственно правовой – о перевесе «тюремного» над «судебным». Этот перевес наблюдался издавна, с самого рождения тюрьмы, как в форме реальной практики, так и в форме проектов. Он не возник впоследствии, как вторичный результат. Грандиозная тюремная машина была связана с самим функционированием тюрьмы. Признаки ее автономии совершенно явственны в «бесполезном» насилии надзирателей и деспотизме администрации, пользующейся всеми привилегиями замкнутого пространства. Корни ее в другом: именно в том, что от тюрьмы требовали быть «полезной», что лишение свободы – юридическое изъятие идеальной собственности – с самого начала должно было играть положительную техническую роль: служить преобразованию индивидов. Для этой операции аппарат карцера использует три великие схемы: политико-моральную схему изоляции и иерархии, экономическую модель силы, приложимую к принудительному труду, и технико-медицинскую модель излечения и нормализации. Камера, цех, больница. Тот край, где тюрьма перевешивает лишение свободы, заполняется методами дисциплинарного типа. Это дисциплинарное дополнение к юридическому и есть то, что кратко называют «пенитенциарным».

* * *

Дополнение не было принято с легкостью. Прежде всего, речь шла о принципе: наказание должно быть только лишением свободы. Как и наши нынешние правители, но весьма убедительно об этом говорит Деказ: «Закон должен следовать за осужденным в тюрьму, куда он его привел»[460]. Но очень скоро – что характерно – этим спорам суждено было вылиться в битву за контроль над пенитенциарным «дополнением». Судьи потребовали для себя права надзора над тюремными механизмами: «Моральное просвещение узников требует участия многих помощников; оно возможно лишь посредством инспектирования, наблюдательных комиссий и шефства благотворительных обществ. Стало быть, необходимы помощники и вспомогательные механизмы, и обеспечить их должно судебное ведомство»[461]. К тому времени тюремный порядок стал уже достаточно прочным, и вопрос о его разрушении не стоял; речь шла о том, как установить над ним контроль. Появляется судья, охваченный желанием к тюрьме. Век спустя рождается внебрачный и уродливый ребенок: судья по исполнению наказаний.

Но если исправительное (пенитенциарное) благодаря его «перевесу» над лишением свободы сумело не только упрочиться, но даже поймать в ловушку всю уголовную юстицию и «заклечь» самих судей, то это произошло потому, что оно смогло ввести уголовное правосудие в отношения знания, которые с тех пор стали для него бесконечным лабиринтом.

Тюрьма, место исполнения наказания, является также местом наблюдения над осужденными индивидами. Наблюдения в двояком смысле: конечно, как надзора, но и как познания каждого заключенного, его поведения, глубинных наклонностей, хода его постепенного исправления. Тюрьмы должны рассматриваться как места формирования клинического знания о заключенных. «Пенитенциарная система не может быть априорной концепцией; она – результат индукции, опирающейся на общественное состояние. Есть моральные расстройства и недуги, метод лечения которых зависит от очага болезни и направления ее распространения»[462]. Должны работать два основных механизма. Необходимо поместить заключенного под постоянный надзор; всякое сообщение о нем должно быть записано и учтено. Тема паноптикона – одновременно надзора и наблюдения, безопасности и знания, индивидуализации и суммирования, изоляции и прозрачности – обрела в тюрьме привилегированное место практического осуществления. Хотя паноптические процедуры как конкретные формы отправления власти получили чрезвычайно широкое распространение, по крайней мере в их рассеянных формах, полное материальное воплощение утопия Бентама могла получить только в исправительных заведениях. В 1830–1840 гг. паноптикон стал архитектурной программой большинства тюремных проектов. Он самым непосредственным образом выражал «разумность дисциплины в камне»[463], делал архитектуру прозрачной для отправления власти[464], делал возможной замену силы или насильственных принуждений мягкой эффективностью тотального и беспроигрышного надзора, упорядочивал пространство в соответствии с недавней гуманизацией кодексов и новой пенитенциарной теорией: «Власть, с одной стороны, и архитектор – с другой, должны знать, на чем надо основывать тюрьмы – на принципе более мягких наказаний или же на системе исправления виновных в соответствии с законодательством, которое, добираясь до главной причины людских пороков, становится началом возрождения добродетелей, коими следует руководствоваться»[465].

Короче говоря, задача паноптикона – создать тюрьму-машину[466] с насквозь просматриваемой камерой, где заключенный оказывается словно «в стеклянном доме греческого философа»[467], и с центральным пунктом, откуда неотрывный взор может контролировать заключенных и персонал. Появилось несколько вариаций строгой изначальной формы Бентамова паноптикона: полукруг, крестовидная структура или звездообразное строение[468]. В 1841 г., в разгар дискуссий, министр внутренних дел напоминает о фундаментальных принципах: «Центральный зал надзора – стержень системы. Без центрального надзирательного пункта нельзя обеспечить постоянный и всеобщий контроль, поскольку невозможно полностью полагаться на деятельность, усердие и ум охранника, который непосредственно надзирает за камерами... Поэтому архитектор должен сосредоточить все свое внимание на этом объекте. Это вопрос как дисциплины, так и экономии. Чем совершеннее надзор и проще его осуществление, тем меньше придется уповать на прочность стен как препятствие побегам и общению между заключенными. Но надзор будет совершенным, если из центрального зала директор или главный надзиратель

сможет видеть, не сходя с места и оставаясь невидимым, не только двери всех камер и даже не только происходящее почти в каждой из них (когда их незастекленные двери отворены), но и надзирателей, охраняющих заключенных на всех этажах... Кольцеобразная или полукруглая форма тюрьмы позволяет видеть из одного центра всех заключенных в камерах и надзирателей в коридорах»[469].

Но исправительный паноптикон был также системой индивидуализирующей и непрерывной документации. В том самом году, когда рекомендовали различные варианты бентамовской схемы для строительства тюремных зданий, стала обязательной система «морального учета»: во всех тюрьмах был введен индивидуальный бюллетень единого образца, в который директор, старший надзиратель, священник или воспитатель должны были заносить свои наблюдения и замечания о каждом заключенном: «Своего рода справочник тюремной администрации, позволяющий оценить каждый случай, каждое обстоятельство, а значит, подобрать индивидуальный режим для каждого заключенного»[470]. Было продумано и испытано много других, гораздо более полных систем регистрации[471]. Их общая цель состояла в том, чтобы сделать тюрьму местом конституирования знания, призванного регулировать ход исправительной практики. Тюрьма должна не только знать приговор судей и приводить его в исполнение в соответствии с установленными правилами, она должна непрерывно извлекать из заключенного знание, которое позволит преобразовать судебную меру в тюремно-исправительную операцию, которое превратит положенное по закону наказание в полезное для общества перевоспитание заключенного. Автономия тюремного режима и создаваемое им знание усиливают полезность наказания, что возводится кодексом в самый принцип его карательной философии: «Директор не должен терять из виду ни одного заключенного, поскольку, в каком бы корпусе заключенный ни находился, входит ли он, выходит или же остается в нем, директор должен всякий раз обосновать, почему держит его в конкретном разряде или переводит в другой. Он настоящий бухгалтер. Каждый заключенный для него, в плане индивидуального воспитания, – капитал, вложенный в интересах исправления»[472]. Как в высшей степени совершенная и тонкая технология, исправительная практика обеспечивает проценты с капитала, вложенного в тюремную систему и строительство монументальных тюрем.

Между тем правонарушитель становится индивидом, подлежащим познанию. Требование знания, способствующего лучшему обоснованию приговора и определению истинной меры виновности, было вписано в судебный акт не сразу. Правонарушитель становится объектом возможного знания именно в качестве осужденного, как точка приложения карательных механизмов.

Но это предполагает, что тюремный аппарат со всей своей технологической программой производит любопытную замену: из рук правосудия он принимает осужденного; но воздействовать он должен, конечно, не на правонарушение и даже не на правонарушителя, а на несколько иной объект, определенный переменными величинами, которые, по крайней мере с самого начала, не были учтены в приговоре, поскольку они имеют отношение исключительно к исправительной технологии. Этот другой персонаж, которым тюремный аппарат заменяет осужденного правонарушителя, – делинквент.

Делинквента необходимо отличать от правонарушителя, поскольку его характеризует не столько его действие, сколько сама его жизнь. Пенитенциарная операция, чтобы завершиться подлинным перевоспитанием, должна заполнить собой всю жизнь делинквента, сделать из тюрьмы своего рода искусственный и принудительный театр, где его жизнь будет пересмотрена с самого начала. Законное наказание основывается на деянии, методика наказания – на жизни. Следовательно, именно эта методика должна восстановить все отвратительные подробности в виде знания; принудительным путем изменить его последствия и восполнить пробелы. Это биографическое знание и техника исправления индивидуальной жизни. Наблюдение за делинквентом «должно охватывать не только обстоятельства, но и причины содеянного им преступления; они должны быть обнаружены в истории его жизни, рассмотренной с тройственной точки зрения психологии, общественного положения и воспитания, с тем чтобы установить соответственно его опасные наклонности, пагубные предрасположения и дурное прошлое. Прежде чем стать условием классификации моральных качеств в пенитенциарной системе, биографическое исследование является существенной частью судебного следствия, направленного на классификацию наказаний. Оно должно сопровождать преступника из суда в тюрьму, где директор обязан не только принять его, но и дополнить, проконтролировать и отчасти исправить в период отбывания заключения»[473]. За правонарушителем, которому расследование обстоятельств может вменить ответственность за правонарушение, стоит делинквент, чье постепенное формирование показывается биографическим исследованием. Введение «биографического» имеет важное значение в истории уголовно-правовой системы. Ведь оно устанавливает, что «преступник» существовал еще до преступления и даже вне его. И поэтому психологическая причинность, дублируя юридическое вменение ответственности, спутывает его последствия. Тут мы вступаем в «криминологический» лабиринт, из которого пока еще не выбрались: всякая определяющая причина, уменьшая ответственность, клеймит правонарушителя как еще более страшного преступника и требует еще более строгого наказания. Поскольку биография преступника дублирует в уголовно-правовой практике анализ обстоятельств, предпринимаемый для оценки тяжести преступления, границы уголовного и психиатрического дискурсов смешиваются; и здесь, на месте их соединения, образуется понятие «опасного» индивида, которое позволяет установить сеть причинных связей в масштабе всей биографии и вынести приговор о наказании – исправлении[474].

Делинквента следует отличать от правонарушителя еще и потому, что он не просто автор своих действий (ответственный на основании определенных критериев свободной и сознательной воли), но связан со своим правонарушением целым клубком сложных нитей (инстинктами, импульсами, наклонностями, характером). Пенитенциарная техника основывается не на таком отношении между «автором» и преступлением, но на родстве между преступником и преступлением. Делинквенты, единичные проявления глобального феномена преступности, подразделяются на якобы естественные классы, каждый из которых имеет собственные определенные характеристики и требует особого исследования. Такое исследование Марке-Вассело в 1841 г. назвал «Этнографией тюрем». «Осужденные, – писал он, – это народ в народе. Народ со своими обычаями, инстинктами и нравами»[475]. Мы еще очень близки здесь к «живописанию» мира злодеев – к старой традиции, которая уходит далеко в прошлое и возродилась с новой силой в первой половине XIX века, когда восприятие иной формы жизни связывали с жизнью другого класса и другого человеческого

вида. Зоология социальных подвидов и этнология цивилизаций злодеев, с их особыми обычаями и особым языком, зарождались в пародийной форме. Однако предпринимались также усилия по созданию новой объективности, в которой преступник принадлежит к типологии, одновременно естественной и отклоняющейся от нормы. Делинквентов, это патологическое отклонение в человеческом виде, можно рассматривать как болезненные синдромы или чудовищно уродливые формы. Классификация Феррюса представляет собой, несомненно, один из первых образцов превращения старой «этнографии» преступления в систематическую типологию делинквентов. Конечно, этот анализ слаб, но он совершенно четко открывает тот принцип, что делинквентность следует классифицировать не столько с точки зрения закона, сколько с точки зрения нормы. Имеется три типа осужденных. Осужденные, чьи «интеллектуальные возможности превышают установленный нами средний уровень», но были испорчены либо самим своим «психологическим складом» и «врожденной предрасположенностью», либо «пагубной логикой», «отвратительным нравом» и «опасным отношением к общественным обязанностям». Те, кто принадлежит к этой категории, требуют изолированного содержания и днем и ночью, прогулок поодиночке, а когда невозможно избежать контакта с другими заключенными, следует надевать им «легкую металлическую сетку, вроде тех, что используются при шлифовке камней или в фехтовании». Вторая категория – осужденные «порочные, недалекие, тупые или пассивные, которые втянулись в зло по причине безразличия к позору и чести, по трусости, даже лености, и неспособности противостоять дурным побуждениям». Для них подходит не столько режим наказания, сколько воспитание, причем по возможности взаимное воспитание: одиночество ночью, совместная работа днем, разговоры допускаются, но только громко вслух, коллективное чтение, сопровождаемое вопросами друг к другу, за которые может даваться вознаграждение. Наконец, есть осужденные «бездарные и неспособные», чья «несовершенная организация делает их негодными к любому занятию, требующему обдуманного усилия и последовательной воли. Поэтому они не способны конкурировать с умелыми и опытными рабочими и, не обладая ни достаточной просвещенностью, чтобы знать свои общественные обязанности, ни достаточным умом, чтобы понять этот факт и бороться с собственными инстинктами, втягиваются в злодеяния самой своей неспособностью. Одиночество лишь усилило бы инертность таких заключенных, а потому они должны жить сообща, но небольшими группами, постоянно стимулируемые коллективными занятиями и подвергаемые строгому надзору»[476]. Так постепенно формируется «положительное» знание делинквентов и их видов, весьма отличное от юридической классификации правонарушений и сопутствующих им обстоятельств, но также и от медицинского знания, которое позволяет говорить о безумии индивида и тем самым аннулирует преступный характер деяния. Феррюс формулирует этот принцип совершенно четко: «В целом преступники далеко не безумны; было бы несправедливостью по отношению к безумным путать их с людьми сознательно испорченными». Задача нового знания – «научно» квалифицировать деяние как преступление, а индивида как делинквента. Становится возможна криминология.

Коррелятом уголовного правосудия вполне может быть правонарушитель, но коррелят тюремной машины – некто другой; это делинквент, биографическая единица, ядро «опасности», род аномалии. И хотя справедливо, что к заключению, т. е. к законосообразному лишению свободы, тюрьма сделала пенитенциарное «дополнение», это

последнее, в свою очередь, вывело на сцену еще одного персонажа, который вкрался между индивидом, осужденным по закону, и индивидом, исполняющим этот закон. В тот момент, когда исчезло клеймимое, расчленяемое, сжигаемое и уничтожаемое тело пытаемого преступника, появилось тело заключенного, дублируемое индивидуальностью «делинквента», душой преступника, которую сам аппарат наказания произвел как точку приложения власти наказывать и как объект того, что по сей день именуется пенитенциарной наукой. Говорят, что тюрьма производит делинквентов; действительно, тюрьма почти неизбежно возвращает на судебную скамью тех, кто на ней уже побывал. Но она производит их также в том смысле, что вводит в игру закона и правонарушения, судьи и правонарушителя, осужденного и палача нетелесную реальность делинквентности, которая связывает их вместе и в течение полутора столетий заманивает в одну и ту же ловушку.

* * *

Пенитенциарная техника и делинквент – в некотором роде братья-близнецы. Неверно, что именно открытие делинквента средствами научной рациональности привнесло в наши старые тюрьмы утонченность пенитенциарных методов. Неверно также, что внутренняя разработка пенитенциарных методов в конце концов высветила «объективное» существование делинквентности, которую не могли уловить суды по причине абстрактности и негибкости права. Они возникли одновременно, продолжая друг друга, как технологический ансамбль, формирующий и расчленяющий объект, к которому применяются его инструменты. И именно эта делинквентность, образовавшаяся в недрах судебной машины, на уровне «низких дел», карательных задач, от которых отводит свой взгляд правосудие, стыдясь наказывать тех, кого оно осуждает, – именно она становится теперь кошмаром для безмятежных судов и величия законов; именно ее необходимо познавать, оценивать, измерять, диагностировать и изучать, когда выносятся приговоры. Именно ее, делинквентность, эту аномалию, отклонение, скрытую опасность, болезнь, форму существования, – надо теперь принимать в расчет при изменении кодексов. Делинквентность – месье тюрьмы правосудию. Реванш настолько страшный, что лишает судью дара речи. В этот момент возвышают свой голос криминологи.

Но не надо забывать, что тюрьма, этот сжатый и суровый образ всех дисциплин, не была рождена самой уголовно-правовой системой, сложившейся на рубеже XVIII–XIX веков. Тема наказывающего общества и общей семиотической техники наказания, скреплявшая «идеологические» – беккариевские или бентамовские – кодексы, как таковая не приводила к универсальному применению тюрьмы. Тюрьма произошла из другого – из механизмов, присущих дисциплинарной власти. Однако, несмотря на эту гетерогенность, механизмы и следствия тюрьмы распространились буквально по всему современному уголовному правосудию; делинквенты и делинквентность стали паразитировать на нем повсеместно. Необходимо доискаться причины этой опасной «эффективности» тюрьмы. Но одно можно отметить сразу: уголовное правосудие, сформированное реформаторами в XVIII веке, наметило две возможные, но расходящиеся линии объективации преступника: либо как «чудовища», морального или политического, выпавшего из общественного договора, либо как юридического субъекта, реабилитированного посредством наказания. И вот, «делинквент» позволяет соединить две эти линии и создать – опираясь на авторитет

медицины, психологии или криминологии – индивида, в котором накладываются (или почти накладываются) друг на друга нарушитель закона и объект научного метода. То, что прививка тюрьмы уголовно-правовой системе не вызвала бурной реакции отторжения, объясняется, несомненно, многими причинами. Одна из них состоит в том, что, производя делинквентность, тюрьма дала уголовному правосудию единое поле объектов, удостоверенное «науками», и тем самым позволила ему функционировать в общем горизонте «истины».

Тюрьма, эта самая темная область машины правосудия, есть место, где власть наказывать, более не рискующая проявляться открыто, молчаливо создает поле объективности, где наказание может открыто функционировать как терапия, а приговор вписывается в дискурсы знания. Понятно, почему правосудие с такой готовностью признало тюрьму, которая не была плодом его собственных мыслей. Правосудие просто вернуло тюрьме долг.

Версия #2

Зверобой создал 26 мая 2025 14:10:38

Зверобой обновил 2 июня 2025 18:16:29